

П. А. КРОПОТКИН

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 929(47)
ББК 63.3(2)52-8
К83

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереа, Е. Фереа*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Кропоткин, Петр Алексеевич.
К83 Записки революционера / Петр Алексеевич
Кропоткин. — Москва : Издательство АСТ, 2022. —
640 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-150269-0

Князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) — географ, историк и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма.

Мемуары воспитанника Пажеского корпуса, казачьего офицера, исследователя-географа, социалиста-анархиста князя П.А. Кропоткина представляют несомненный интерес не только потому, что автор рассказывает о своей совершенно необычной для дворянина жизни, но и тем, что он с юности стремился принести пользу обществу и народу, искренне желая бескровных преобразований на благо человека как в России, так и во всем мире.

УДК 929(47)
ББК 63.3(2)52-8

ISBN 978-5-17-150269-0

© ООО «Издательство АСТ», 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Многое из того, что рассказано в этой книге, ново для русского читателя, а многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, рассказано, может быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, никогда не казавшегося так прочным, как в те годы, затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, последовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому народу, — эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений.

Притом же Россия живет быстро за последнее полстолетия. Крепостное право и крепостные нравы, с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла полосаю очистительная, беспощадная критика нигилизма, как будто отошли куда-то очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ забыто и представляется современной молодежи каким-то сказочным ге-

роическим периодом, который можно толковать так же своевольно, как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка».

Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе крепостное право и его обычаи, как ни кажутся нам забыты крепостнически-государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные неразрешенными надвинувшейся реакцией, стоят и поныне непочатые перед русской жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в России.

Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятых годов уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания «непривилегированных» на лобном месте, — этот шаг, которого все значение могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского сосредоточенного сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, против Польши, даже недовольные элементы русского общества, — идеал централистов — опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех, кто считает себя призванным руководить судьбами России, опять стоит он на пути

развития местной жизни и местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие — в науке перед авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце пятидесятых годов и вызвало резкий протест Базарова, — вновь оживают среди нас.

И теперь, как и тогда, несмотря на несомненное пробуждение самосознания среди крестьян и городских рабочих, — даже именно вследствие того, что веками угнетенный крестьянин поднимает голову и сам начинает утверждать свои доселе попранные права на волю, — снова является тот же самый вопрос перед всяким думающим молодым человеком из привилегированных классов, который мы себе ставили тридцать лет назад: «Стану ли я пользоваться своим привилегированным положением и, рассматривая дело освобождения крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, — отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, понимая, что прогресс в человечестве не разделен, что он возможен только тогда, когда он охватывает всех, и что нищета и угнетение одних ведут за собой нищету духа и рабство всех, — сочту ли я себя простой частицей большого целого и не понесу ли я в среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и освобождение, которые позволили мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от наследия рабского прошлого?»

Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет своей цели.

Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского — преимущественно о русской жизни — пришлось переводить другому с английского языка, — требует нескольких слов объяснения.

Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть — «Детство» — была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился с очень симпатичным человеком Вальтером Пэджем, который был тогда издателем ежемесячного журнала *Atlantic Monthly**. Он уговорил меня засесть за мои мемуары, кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, то есть описал — опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, — мою юность. Затем для *Atlantic Monthly* я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту.

Когда зашла речь о напечатании группой русских товарищей за границей русского издания «Записок революционера», то возник вопрос: что печатать — русский ли текст, более подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как за отсутствием полного русского текста пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал.

П. Кропоткин

Июль 1902

* «Атлантический ежемесячник».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

I. Старая Конюшенная

II. Смерть матери

III. Род Кропоткиных. — Отец. — Мать

IV. Мадам Бурман. — Ульяна. — Пулэн. Изучение французского языка и древней истории. — Воскресные развлечения. — Страсть к театру

V. Бал в честь Николая I. — Назначение в пажи

VI. Нравы старого барства. — Крепостные слуги. — Типы Старой Конюшенной

VII. Наказы бурмистрам. — Доставка живности. — Переезд в Никольское. — Долгие сборы. — Пулэн объясняет подвиги наполеоновской армии. — Военные упражнения — Пробуждение демократического духа. — Наши соседи

VIII. Крепостное право. — Макар. — Браки по приказу. — Андрей-портной. — Сдача в солдаты. — Горничная Поля. — Саша-доктор. — Герасим Круглов. — Как Маша получила вольную

IX. Крымская война. — Смерть Николая I

X. Благотворное влияние студентов-учителей. — Н. П. Смирнов. — Проявление литературных наклонностей. — Первые литературные опыты. — «Временник»

I

Старая Конюшенная

Москва — город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье, с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем и ночью, осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лавазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и живет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города.

И из всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за

Кремлем, между Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной.

Около пятидесяти лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-помалу, уступив место именам новых людей — «разночинцев», призванных на службу основателем русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы.

В молодые годы большинство из них тоже пыталось счастье на государственной, большей частью военной, службе; но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые (мой отец был в числе их) получали какую-нибудь покойную почетную службу в родном городе; большинство же просто выходило в отставку. (Но в какой бы дальний угол России их ни забрасывала служба, родовитые дворяне все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество; все они со множеством главков, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие — в желтый, третьи — в белый или коричневый, и каждого тянуло именно к своей — желтой или зеленой — церк-

ви. Старики любили говорить: «Здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку. Пусть и меня будут здесь отпевать».)

Старые корни пускали новые побеги. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России; иные приобретали более роскошные, в новом стиле, дома в других частях Москвы или в Петербурге; но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе, вторая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе: старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций.

В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасады с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила «анфилада» парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением.

Затем гостиная тоже в три окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана — кресла, козетки, столики, а между окон — столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в Старой Конюшенной стали появляться разные вычурные «трельяжи», стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволёнными, и все гостиные были на один лад. За большою гостиною шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за маленькой гостиной — уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едучи на бал и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине «анфилады». Во всех домах было то же самое, единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что «маленькая гостиная» и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат; здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребами и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штаб-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майо-

ра» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрощеный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.

Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже наверное стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предъявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов.

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Позже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных — громадных и просторных, на высоких висячих рессорах — каретах, запряженных четверкой, с фореитором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любовать-

ся играющими в карты или же танцующими. В те дни «идеи» еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между «отцами и детьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности.

В этой Старой Конюшенной родился я в 1842 году; здесь прошли первые пятнадцать лет моей жизни. Отец продал дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой; потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, покупая отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать.

И все это было в Старой Конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне.

II

Смерть матери

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней — белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время — таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостя-

ми; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие темно-карие глаза. Она смотрит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять. Нас уводят.

Немного времени спустя нас, детей, то есть меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка-бонна мадам Бурман и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Неизвестность пугает нас; мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем наконец и спрашиваем: «Где мама? Где мама?» Обе женщины начинают плакать навзрыд, гладят наши кудрявые головки, зовут нас «бедными сиротами». Ульяна не может скрывать больше и говорит «Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам».

— Как на небо? Почему? — Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопросы.

Это было в апреле 1846 года. Мне было всего три с половиной года, а брату Саше еще не минуло пяти. Я не знаю, где были тогда старший брат Николай и сестра Елена: по всей вероятности, уже уехали учиться. Николаю шел двенадцатый год, а Лене — одиннадцатый. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении мадам Бур-

ман и Ульяны. Добрая старая немка, не имевшая ни своего угла, ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас как могла: от времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала коврижками, которыми торговал заходивший иногда старый немец, по всей вероятности, такой же одинокий бобыль, как и она сама. Мы редко видели отца. Два следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти.

III

Род Кропоткиных. — Отец. — Мать

Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытом горностаевой мантией, увенчанной шапкой Мономаха, свидетельствовалось и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалого и что наши предки были великими князьями Смоленскими.

— Я за этот пергамент заплатил триста рублей, — говорил нам отец.

Как большинство людей его поколения, он не был особенно силен в русской истории и ценил пергамент главным образом по стоимости его, а не по историческим воспоминаниям.

Наш род действительно очень древний, но, подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда кончился удельный период и вступили на престол Романовы, начавшие объединять Россию. Но хотя род наш и ведется